

Силуэты Моек. правде. - 1997. - 16 дек. - с. 9.

Земля и воля по Николаю Некрасову

Николай Алексеевич Некрасов, конечно же, «переживет», что в обществе, если судить по масс-медиа, отвернулись от него. Даже в прошлом году - году 175-летия со дня его рождения. Автор «Рыцаря на час» переживет даже умонастроения, которые Николай Скотов, автор одной из немногих книг, выпущенных в последние годы о национальном нашем поэте («Некрасов» в молодогвардейской серии «ЖЗЛ»), определил так: «За что мы не любим Некрасова». Пока есть взрослые люди, которые открывают томики поэта, пока в семьях читают детям про мужичка с ноготок и генерала Топтыгина, про Мороза, Красный нос и дедушку Мазая с зайцами, Некрасов будет жить, опровергая мифы о своем якобы непозитическом, примитивном творчестве.

Известно, что отцом Некрасова был грубоватый русский армейский офицер Алексей Сергеевич, матерью - украинская (магурская) дворянка Елена Андреевна Закревская (всю жизнь поэт не покидало убеждение, что его мать, образ которой он романтизировал, была полькой). Н.Скотов, говоря о внешних коллизиях противостояния, сопровождавших заключение брака, да и в целом трудное, порою мучительное супружество родителей поэта, выявляет конфликт внутренний: повенчались не просто два человека, но две разные жизни, два начала, две славянские стихии. «И не только сошлись, а столкнулись», - читаем в ЖЗЛовской биографии. - Внутренний конфликт этот продолжался и еще более углубился, но уже в одном человеке - в сыне, с громадной силой ощутившем, а порой и выразившем в самом себе игру столь разных сил, бурную и раздирающую, но и обогащавшую... На первый взгляд это может показаться странным, но в таком чисто и, казалось бы, узко русском поэте, как Некрасов, мощно пробились и сказались в творчестве, пусть неосознанно, но тем более органично, широкая славянская стихия, прежде всего украинская. Само присоединение такого украинства не было арифметическим прибавлением, но работало на славянскую геометрическую прогрессию».

С одной стороны, Некрасов часто приводил своих русских героев к общему славянскому знаменателю («тип величавой славянки» усмотрел он в крестьянке среднерусской равнины), с другой же, сказал об украинце Шевченко: «Русской земли человек замечательный». И с этой точки зрения украинская органическая, природная стихия, воплощенная в песне крестьянских девушек, кровно, без швов влилась в одно из самых знаменитых стихотворений поэта о Зеленом Шуме - победном шествии весны. В образе Зеленого Шума отразились народное мироощущение, стихийный крестьянский пантеизм.

«Идет-гудет Зеленый Шум! / Зеленый Шум, весенний шум! // Как молоком облитые, / Стоят сады вишневые, / Тихононько шумят; / Пригреты теплым солнышком, /

Шумят повеселелые / Сосновые леса».

За счет чего достигается ощущение всеохватности этого весеннего пейзажа? За счет особенности зрения поэта. Не один клочок расцветающей земли под собственным окном привлекает взгляд поэта, но все пробудившееся от зимней спячки пространство от Черного до Белого моря. «Повеселелые сосновые леса» - это уж, конечно, не украинский юг. «Как молоком облитые, стоят сады вишневые» - вовсе не русский север. «Видимо, - пишет Н.Скотов, - эта южная славянская прививка многое корректировала и в становлении личности поэта, когда за его воспитание взялся суровый русский север», ярославское имение Грешнево, куда будущего поэта привезли неполных трех лет.

Мельком увиденный из вагона, взятый в рамку окна вид (как в «Железной дороге») - редкость у Некрасова. Он не праздно путешествовавший, не проезжающий мимо барин, а истоптавший поля и болота в округе пешком, знаток срединной России. Отсюда этот панорамный взгляд - и вдали, и ввысь, и вглубь. И тогда единственная нескатая полоска ржи приобретает значение катастрофы: чуть ли не вселенского масштаба: с гибелью пахаря, кормильца может прерваться один из побегов общероссийского древа жизни. Достоевский, которому Некрасов дал очень много, точно объяснил, что «...любовь к народу у Некрасова была лишь исходом его собственной скорби по себе самом». Возможно, еще и поэтому, сколь бы хорошо ни удавались Некрасову пейзажи радостные, когда крестьянин пользуется плодами довольства и труда, нарисованные поэтом пейзажи грозные, ненастные, грустные впечатляют сильнее.

Вспомним сон вдовы Прокла из поэмы «Мороз, Красный нос», когда перед Спасовым днем она заснула в поле после полудня - с серпом. «Вижу - меня оступает / Сила - несметная рать, - / Грозно руками махает, / Грозно очами сверкает». А оказалось, что «это не люди лихие, / Не бусурманская рать, / Это колысья ржаные, / Спелым зерном налитые, / Вышли со мной воевать!» Жнет что есть мочи крестьянка, а на шею ей «сыплются крупные зерна - словно под градом» стоит. И опять разгадала непонятное женщина, что не зерно это, а слезы ее, слезы горящих вдов. И если в «Слове о полку Игореве» слезам уподоблен скатный жемчуг - жемчужное зерно княжеской породе ближе (ведь это из сна Святослава), то зерна-слезы - самый что ни на есть органичный образ для крестьянского миропонимания.

Или взять строки о русском лесе, где мороз-чародей заморозил крестьянку, а перед смертью слышала она песню, утолившую сердце, и чудились в ней «допьяного счастья предел» и «кроткая ласка участия, обеты любви без конца...» Поэт вместе со своей героиней пережил это погружение в смертный сон, эту леденящую и вместе с тем сладкую покорность судьбе, когда казалось, что «нигде



так глубоко и вольно не дышит грудь», как под холодом зимних небес.

Но Некрасов мог и по-иному - со злобой, с кипящей ненавистью - оглядывать родные места. «И, с отвращением кругом кидая взор, / С отрадой вижу я, что срублен темный бор - / В томный летний зной защита и прохлада, - / И нива выжжена, и праздно дремлет стадо, / Понурился над высохшим ручьем, / И набок валится пустой и мрачный дом, / Где вторил звону чаш и гласу ликований / Глухой и вечный гул подавленных страданий...» Кажется, еще немного, и из груди вырвутся слова: «Как спадостно отчизну ненавижу...», какие вырвались некогда у литератора Владимира Печерина, покинувшего Россию и ставшего в эмиграции католическим патером.

Но - нет. Понимал, чуял, что спастись можно только в России, рядом с ее народом, говорящим на русском языке... И оттого, хоть видела во сне княгиня Трубецкая край иной с теплым солнечным лучом и сладким пением волн, спешила она по «проклятой стране», зачем-то открытой Ермаком, - по Сибири к мужу-декабристу в Нерчинские рудники. И оттого так поражает в бесхитростном рассказе про деда Мазая, выручавшего по большой воде зайчишек, сравнение деревеньки во глубине России с Венецией...

В «на диво спящем возке», запряженном шестеркой лошадей, скакала через немереное пространство княгиня Трубецкая - о, эта вечная русская дорога, русская бесконечная горизонталь, пересекаемая вертикалью духа! На русской тройке катился медведь - генерал Топтыгин. «Ну, мертвая!» - прикрикнул малюточка басом на лошадку, везущую хворосту воз. «Савраска увяз в половине сугроба» - таков зачин повествования о смерти крестьянина в поэме «Мороз, Красный нос». Всюду рядом с человеком такое же выносливое, как он, такое же терпеливое и страдающее животное, домашняя рабочая скотинка. Правда, кнут, которым охаживают лошадей, порой проходит и по людским спинам. Крестьянку, истязаемую кнутом на Сенной в Петербурге, Некрасов назвал сестрой своей Музы.

А об избии лошади челове-

ком поэт рассказал так, что в бытовой сценке, уличной зарисовке предстала символическая картина обесчеловечивания всего мира. «Под жесткой рукой человека / Чуть жива, безобразно тоща, / Надрыается лошадь-калека, / Не посильную ношу влacha. / Вот она зашаталась и стала. / «Ну!» - погонщик полено схватил / (Показалось кнута ему мало) - / И уж бил ее, бил ее, бил! / Ноги как-то расставив широко, / Вся дымясь, оседала назад, / Лошадь только вздыхала глубоко / И глядела... (так люди глядят, / Покоряясь не-правым нападкам). / Он опять: по спине, по бокам, / И вперед забежав, по попяткам / И по плачущим, кротким глазам!» Эту жестокую картинку долго будет воспроизводить русская литература - и сном Родиона Раскольникова, и «Хорошим отношением к лошадам» Маяковского. Почему же человеческая жалость с такой силой была излита на бесповоротное животное? Философ Владимир Соловьев полагал: «Это начало имеет глубокий корень в нашей природе, именно в виде чувства жалости, общего человеку с другими живыми существами. Если чувство стыда выделяет человека из прочей природы и противопоставляет его другим животным, то чувство жалости, напротив, связывает его со всем миром живущих, и притом в двойном смысле: во-первых, потому, что оно принадлежит человеку вместе со всеми другими живыми существами, а во-вторых, потому что все живые существа могут и должны стать предметами этого чувства для человека». И вот такими ступеньками страдания полна русская литература...

Иронический склад ума образованных россиян конца двадцатого века всюду куда ищет пищу, стремясь все спародировать, превратить в материал для капустника. Некрасов дает немало поводов для насмешливого переименования. Слова об изумляющем терпении русского народа - «вынесет все» - легко трактовать и так: в народной среде, мол, не счесть «несунов», тащат все, что плохо лежит. Словно бы предвидя подобный поворот мыслей своих будущих читателей в родном отечестве, поэт сказал: «Я не люблю иронии твоей». И предложил оставить это качество отжившим и не жившим, поскольку людям, умеющим любить, ирония не в силах заменить ни доброе участие, ни тем более любовь. Княгине Волконской, подвезавшей к Енисею, послышалась песня, исполняемая инородцем на старинном неизвестном наречии, и «суровым пафосом звучал неведомый язык». Ныне торопятся пересмеять уже неведомый, увы, язык русской классики, не внемля его суровому пафосу.

Но призыв поэта, облеченный в формы народной, крестьянской-христианской эстетики: «Сейте разумное, доброе, вечное, сейте!» - все-таки дойдет, не может не дойти до новых поколений сеятелей на необъятной русской ниве.

Татьяна СЕРГЕЕВА.